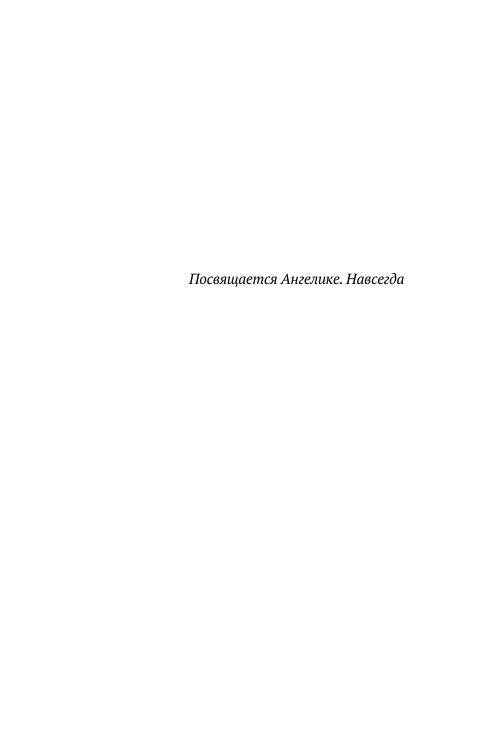


ПРИЗРАКИ ДАРВИНА



Книга «Призраки Дарвина» написана под впечатлением от череды реальных событий, которые и правда имели место в девятнадцатом веке. Каким бы невероятным произошедшее ни казалось на первый взгляд, все тщательно задокументировано. Читателям предстоит самим решить, можно ли то же самое сказать о рассказчике в отношении его истории и судьбы.

Любая попытка познать прошлое — это путешествие в мир мертвых.

Карло Гинзберг

Единственная надежда — стать дневным светом.

Уильям Стэнли Мервин

один

В се случилось почти сразу после рассвета. Темнота, которой предстояло изводить меня, сгустилась так внезапно, что я сначала не мог дать ей имя. Как сразу понять, что эта тьма вызревала в какой-то архаичной зоне моего «я» и моих предков в течение сотни лет, и начать догадываться, что она заразила огромный слепой мир куда раньше? Ее непостижимое появление, как и многие другие ужасы, грядущие в моей жизни, было совершенно непредвиденным.

Я практически с самого начала искал признаки, которые могли бы предупредить о ее наступлении и подготовить к будущей катастрофе. Я помню свои юношеские руки, перелистывающие семейный альбом Фостеров, страницу за страницей, — ритуальное утешение, позволявшее остановиться и опознать на каждом фото мой прежний незапятнанный вид, водя указательным пальцем по тому, что раньше было сияющим ликом, задерживаясь на нем.

И так вплоть до моего четырнадцатого дня рождения, когда он исчезнет. Исчезнет изображение, исчезнет лицо, а не семейный альбом. Альбом и по-

том будут заполнять отец и младшие братья, и какое-то время мать. Мои родные и дальше будут находить свое место в этой бескрайней хронологии бесконечно обыденной жизни, выпускных и празднований, помолвок, игр и отпусков. Большая часть моей семьи растет, цветет и пахнет на страницах альбома, но уже без меня. Между прочим, в детстве я считал свою жизнь скучной — один день был похож на другой — и молился, жадно читая рассказы о море и странствиях в экзотических странах, чтобы со мной случилось что-то необычное. Так и произошло, но ждать пришлось до памятного рассвета, когда все изменилось.

Каким невинным я казался на первой фотографии, сделанной моим отцом. На снимке я сосал материнскую грудь — насмешливый прием, оказанный камерой, хотя и не мгновенно. Тогда, в 1967 году, это еще не полароид. Как и все младенцы, только что появившиеся на свет, я едва узнаваем на фото, но при этом достаточно похож, чтобы идентифицировать себя с этим малышом, не так уж сильно отличающимся от того, кого отец увидел в объективе, а камера щелкнула и заморозила во времени, пока я впитывал удовольствие вместе с молоком матери. Мама, такая лучезарная и ликующая, смотрит на меня, своего первенца. Только взгляните, с каким блаженством я причмокиваю, несказанно радуясь жизни. Мои снимки, которые продолжали отщелкивать отцовская и все другие камеры мира на начальном этапе моего существования, нормальны. Необыкновенно, восхитительно, до неприличия нормальны. Мое участие в семейном альбоме венчает последнее фото, сделанное за день до четырнадцатилетия, — снимок, который я увеличил и повесил над столом, чтобы постоянно напоминать себе о том, кем я был, но более не являюсь. Рядом висит портрет Кэм Вуд, который она, любовь всей моей жизни, подарила мне, — еще одно напоминание о том, что я, как мне казалось, потерял навеки.

Каким легким это было, пока длилось, — я про фотографический след, оставленный той ранней радостной жизнью: демонстрация каждой стадии собственного существования для других, для себя, для потомков, для объектива бесстрастного аппарата. Первая игрушечная уточка, засунутая в рот, первый зуб, выглядывающий оттуда как злоумышленник, первый шаг, когда меня держат за руку, первый шаг без посторонней помощи, второй шаг, все прочее, чем продолжали восхищаться родители: «Он ведь милая маленькая обезьянка? Ах ты, маленький дикарь!» Такими словами они описывали меня, не зная, что шутка обернется против них, ни о чем не подозревая, пока отправляли фотографию за фотографией бабушкам, дедушкам и дядям, показывали соседям, хотели те или нет. Они оставались в неведении, пока усталый клерк в офисе турфирмы вырезал мою первую официальную фотографию на паспорт (прикиньте, они правда потащили меня в Париж — в Париж! — в шесть лет, и я совсем крошкой стоял около Триумфальной арки, сунув руки в карманы брюк, и с любопытством поглядывал на шимпанзе в зоопарке «Сада Аклиматасьон» в Булонском лесу — да, родители

реально меня туда потащили!). Они были слепы и беспечны, когда воспитатели в детском саду потребовали мой портрет крупным планом, чтобы повесить его на доску рядом с рисунками цветов. Все просто и понятно. Щелк-щелк, все готово, а вот и фото, а вот и он.

Да я и сам ни о чем не подозревал. Ничто не предвещало — вынужден настаивать на этом — будущую мою судьбу и тот ужас, что поглотит мою жизнь по достижении половой зрелости. Когда коечто случилось. Вернее, кое-кто. Он. Мой гость.

Я помню все, как будто это было вчера. Да тот день во всех отношениях и оставался вчерашним, никогда не переставал быть тем самым «днем накануне», став в сознании точкой, когда меня изгнали из современной жизни.

А начинался он, как и у миллионов мальчишек примерно моих лет.

На заре одиннадцатого сентября 1981 года — в свой четырнадцатый день рождения — я сделал себе подарок с утра пораньше, как раз на восходе солнца. Я впервые мастурбировал. Я думал о Камилле Вуд, о том, как накануне вечером — пока ее отец смотрел какой-то фильм в кинотеатре, вроде бы «Американского оборотня в Лондоне», — мы зашли так далеко, как она только позволила. Я вспоминал мучительные поцелуи, прикосновения, легкое поглаживание ее груди и кое-что еще, но мне было мало, мало, и на следующее утро я подумал о неизведанных глубинах Кэм, пока занимался этим в одиночестве под песню «Игры без границ» Питера Гэбриэла в судороге этих строк, мрачных

строк: «Если бы взглядом можно было убить, так, наверное, и было бы».

Я убедил себя, что это секс навлек на меня то наказание, сам факт, что я с того пульсирующего момента и далее гарантированно мог производить потомство, так же как мои родители смогли зачать меня, повторяя спаривание многих поколений до нас, когда бесчисленные мужчины и женщины создавали и разрушали меня и в далеком, и чуть более приближенном к нашему времени прошлом. Трудно усомниться, что дело не в сочетании секса и болезни, и тем не менее, сколько мальчиков впервые прикасались к своим гениталиям, выждав удобный момент, — и девочек, девочек, таких как Кэм, сколькие из них задыхались в сексуальном припадке и с жарким изумлением наблюдали, как сперма выстреливает густой белой струей в любое доступное вместилище, в то время как они таяли всем телом, от кончиков пальцев ног до расширяющейся вселенной их мозга, и благодарили звезды и Питера Гэбриэла за то, что вскоре повторят этот опыт? Сколькие в итоге страдали, как я? Сколькие, как и я, несмело, но гордо тащились вниз по лестнице к завтраку, где их поджидал отец с последней моделью камеры SX-70, чтобы запечатлеть тот самый миг, когда я уставлюсь на лежащие рядом с тарелкой ключи от миниатюрного мопеда, о котором так мечтал. А еще на два билета на предстоящий закрытый концерт «Роллинг Стоунз» в ночном клубе «Бухта сэра Моргана» в Вустере перед туром по стране. Мой отец хотел навсегда зафиксировать с помощью полароида апогей семейного блаженства, который он сам срежиссировал и представил миллионам телезрителей в звездном присутствии Джеймса Гарнера. Щелк!

И вот оно. Щелчок разделил мое существование надвое. До щелчка и после него. Я так хорошо помню все, что было потом. Через секунду после того, как отец с нетерпением вытащил из камеры мгновенной печати снимок и, отогнав остальных членов семейства, наблюдал, как на сером фоне проступает нечто, словно призрак, все и случилось — пока мама целовала и обнимала меня со всепоглощающей теплотой, а братья горланили дурацкую поздравительную песню с добрыми пожеланиями на день рождения, которые имели смысл для всех в этом мире, но никогда более для меня.

Лицо моего отца. Он уставился на нарыв полароидного подобия меня, как если бы это был дьявол во плоти. А так и было, я не сомневался в этом много лет. Но отец тогда не поверил своим глазам, пробормотал «нет, нет, нет» и сунул улику в карман, скомкав с силой, как будто это ядовитый червь, а не фотография, с такой тревогой и отвращением, что я испугался, уж не читалось ли мое недавнее эротическое посвящение в румянце на щеках, уж не догадался ли мой родитель по пылающему лицу, по какому-то красноречивому прыщику или ухмыляющейся капле пота, скатившейся с губ, о том, что произошло несколько минут назад в спальне наверху, когда Питер Гэбриэл напевал о поцелуях бабуинов в джунглях. Увы, хотя я часто молился, чтобы это было что-то настолько несущественное. Нет, нет, нет. А потом он сказал: «Дай-ка я сделаю еще один снимок, а то этот какой-то нечеткий. Надо сказать ребятам из лаборатории, что они не исправили глюки в последней модели. Не хотелось бы отзывать всю партию». Как будто проблема была чисто техническая и в защите нуждалась только его драгоценная компания «Полароид».

Итак, он согнал нас, всю семью, в кадр и снова щелкнул. Второй важный щелчок в моей жизни. Второй щелчок, возможно, еще хуже первого, потому что он повлиял на все, что последовало далее. Потому что на этот раз отец позволил посмотреть снимок — он был вынужден это сделать! — моей матери, и на ее прекрасном лице показалось отвращение, пока она пыталась убрать фотографию подальше от меня, но я среагировал мгновенно, вырвал снимок из ее рук и...

Там был я.

Ну, не совсем так. Среди всех этих привычных, обычных лиц выделялось только мое, то есть не мое.

Мое тело. Мое место за столом. Мама слева от меня, средний брат Хью справа, они оба лучезарно улыбаются в камеру, в то время как младший брат Вик нетерпеливо протискивается вперед.

Но на месте того, что четырнадцать лет было моим лицом, виднеется другое, лицо какого-то незнакомого молодого парня.

Глаза этого человека, копна спутанных черных волос, курносый нос и высокие скулы, толстые губы аборигена с едва заметным намеком на полоску белых зубов и горящий загадочный вызывающий взгляд — о, если бы взглядом можно было убить, если бы...